

Эта пустая страница добавлена для облегчения просмотра в режиме Facing Pages (разворот), который дает наиболее полное представление о том, как выглядит печатная версия.

Александр Мещеряков

# Япония, данная нам в символах, флоре и фауне,



Александр Николаевич Мещеряков – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Все хорошее кончается довольно быстро. В этом номере – последняя порция из «Книги японских символов и обыкновений». Работая над ней, я получал удовольствие. Был бы рад, если читатель хотя бы отчасти разделит мои чувства. В журнале я рассказал о некоторых вещах, без которых японцы не умели жить, высказал кое-какие соображения, как устроена японская культура. В самой книге, которая вот-вот выйдет в издательстве «Наталис», будет еще много познавательного. Ну, например, откуда взялся японский гимн. Или чем замечательны местные кошки. Или как японцы приохотились к табаку. Познавая другого, мы познаем и себя. Этот процесс имеет начало, но не имеет конца.



## ЛЮДЯХ И ОЩУЩЕНИЯХ

### Гуманитарии всех стран, соединяйтесь!

Путешествуя от Москвы до дачи, поневоле вступаешь в разговоры. И, конечно же, твой собеседник желает не просто раздавить с тобой бутылку или же перекинуться в карты, но и узнать — чем ты на жизнь зарабатываешь. Вопрос — простой, а ответить на него — сложно. По юности лет я отвечал честно — историк, мол, что ни спроси про японскую исто-

рию — все тебе без заминки отвечу. И встречал полное непонимание, потому что за первым вопросом регулярно следовал второй: а на кой это нужно?

Утомившись отвечать на второй вопрос, я придумал себе такую «отмазку»: переводчик я. А с переводчиком — все понятно. Ну, переводит себе человек, что ему начальство скажет — что-нибудь про мирное использование атома или еще про что такое, в народной жизни употребимое. Все таким пробавляемся.

Улучив минуту откровенности, поинтересовался у американских японистов насчет общественного резонанса относительно оценки их общественной полезности. Ответ получил сходный: налогоплательщик озабочен тем, как бы поскорее сбросить нас со своей трудовой загорелой шеи.

А вот в Японии народ совсем другим озабочен. На публичную лекцию по древнейшей истории по тысяче человек приходит. Слушают тщательно и вопросы со смыслом задают. Случаются, правда, и исключения. Вот читаю я там публичную лекцию — про японские же древности. И вполне остаюсь доволен связностью своего рассказа. «Есть ли вопросы?» Есть, разумеется (конечно, если там находка какого-нибудь самого паршивого курганчика на первых страницах общенациональных газет печатается!).

«Я — человек рабочий, — нутро у меня холодеет — сейчас скажет: «а на фига?». — И как человек рабочий, хочу вас прямо-откровенно спросить. Вот вы, профессора, всю японскую страну своими раскопками раскопали, каждый день в органах массовой коммуникации светитесь. А кто эти курганы, горшки керамические и мечи непосредственно находит? Вы, что ли? Нет, не вы, а мы — простые, как мычание, землекопы. А почему это только вас в телевизоре показывают?»

Недоумение, прямо говоря, не совсем по адресу — я хоть ученый, но землю японскую лопатой тревожить не пришлось. Но тут ведущий мой инициативу отважно на себя взял, стал говорить, что важно не только найти, но и интерпретировать, к периоду отнести... Ну, и так далее. Срезал, в общем. Но чувство неудовлетворенности во мне все-таки осталось.

Лично я никакую профессию сомнению не подвергаю. Даже жрицы любви и налетчики в мою картину мира вписываются. Но раз у вполне разумных людей возникают ко мне вопросы принципиального свойства, значит что-то не так мы (я, мои коллеги по цеху) делаем. По мне так: раз такие обидные вопросы у отдельных представителей самых разных этносов возникают, что-то мы перемудрили... Мычим только, а сказать-то и не умеем.



### *Развесистая сакура, или Япония в свете застоя*

Человек не может без идеала. Не может без него и общество. Временное воплощение идеала различно. Одни общества почитают за таковой некий «золотой век», другие провидят идеал в будущем («коммунизм»), третьи настойчиво предлагают считать «золотой век» уже наступившим (сталинизм, многие современные западные общества). Существуют и утопии, переносящие идеал в другие страны — туда, где жизнь устроена богато и «по справедливости». Таков остров Утопия Томаса Мора, такова Полинезия в восприятии европейцев XVIII в., таковы США в глазах значительной части нынешнего населения России. Долгое время «пролетарии всех стран» обращали свои взоры к СССР.

Профессионально занимаясь Японией, я не мог не ощутить постоянно растущего интереса широкой публики к этой стране. Особенно заметно этот интерес стал проявляться в брежневские «годы застоя». Столкнувшись с невозможностью реализовать свои трудовые и творческие возможности, в свободное от очередей время люди вообще переключали свое внимание на заграничье,

мишурный блеск явно предпочитая собственной серости. Мода же именно на Японию имела под собой некоторые объективные основания — стремительное превращение этой страны из поверженного противника в суперсовременную технико-экономическую державу. Но дело отнюдь не исчерпывается исключительно экономическим фактором — ФРГ поднялась из послевоенных руин не менее быстро. И хотя японцам удалось несколько потеснить США на некоторых направлениях экономического и научно-технического прогресса, уровень жизни на Японских островах еще сильно отставал от американского.

Тем не менее статус Японии в структуре мировидения позднесоветского человека был совершенно необычен. Резко увеличилось число желающих изучать (но так и не изучивших) японский язык, возникали кружки икебаны и каратэ, немногочисленные публикации по культуре Японии и более многочисленные переводы художественной литературы (особенно поэзии) пользовались невероятным успехом, по рукам ходили доморощенные переложения не слишком профессиональных западных изданий по дзэн-буддизму. Слова «ваби» и «саби», «сатори» и «хайку» стали знаком приобщен-

ности к некоему духовному ордену. Массовому интеллигентскому сознанию Япония представлялась территорией, покрытой бесконечными садами камней, в которых абorigены под сенью сакуры предаются размышлениям о мимолетности жизни и — чуть что — слагают стихи.

И это при том, что пресса с телевидением планомерно информировали о забастовках и милитаризации. Но вера в беспристрастность официальной информации была уже окончательно подорвана, и «минус-информация» (в которой, между прочим, далеко не все было ложью) проходила мимо ушей. Люди знали, что им лгут «дома» относительно их самих, и распространяли свое недоверие на все заграничные вести.

К тому же недоброжелательство официальной пропаганды по отношению к Японии никогда не достигало степени накала, свойственного разоблачению других «империалистических акул» — США, Великобритании, ФРГ. А ведь был еще и Китай! Так что на Японию идеологических сил оставалось мало. Кроме того, советским правителям Япония нравилась лично — потому, что они видели в ней неосуществленный на родине идеал: экономика процветает, но в то же самое время граждане слушаются приказаний правитель-

ства, чтут пожилых людей и не грубят им, ставят общественное выше личного, а автомобили неизменно следуют правилам дорожного движения. Проституция запрещена, но существует практически легально, напиваются японцы с малой дозы, но часто, песни деревенские позабыть еще не успели. Милое дело — коммунизм, да и только! Да и ядерного оружия в запасах нет и пока что не предвидится

И все это привело к тому, что вполне прикормленным и партийным людям, писавшим о Японии, позволялось прилюдно признаваться в любви к ее культуре и народу. Такова «Ветка сакуры» В. Овчинникова. В этой книге корреспондент «Правды», вполне добросовестно отработывавший свою партийность в ежедневных выпусках, вдруг разразился на страницах полуопального «Нового мира» сочинением о национальном характере японцев. И это в стране, которая объявляла себя совершенно вненациональной. Необычайный успех книги свидетельствовал не только о литературных дарованиях автора, но и об ожиданиях публики, которой хотелось, чтобы хоть где-то все было бы хорошо...

Еще одним фактором, способствовавшим возникновению и закреплению представле-





ний о сказочной стране, было практически полное отсутствие личных контактов с японцами и с Японией. Мы слушали «Голос Америки» и Би-би-си, наши соотечественники уезжали на Запад. В сообщениях и письмах чужая жизнь обретала бытовые подробности, которые лишают действительность ореола таинственности. И несмотря на то, что «дома» нам твердили о глобальном противостоянии двух социально-политических систем, мы имели пересекающиеся прошлое и культуру. Запад казался нам понятным (считаю это убеждение иллюзией, но многим действительно так казалось).

Да, были ведь умные люди во всех учреждениях нашего руководства. Кроме того, отзывчивые и добрые. В гости к нам, правда, всякая шваль ездил. Вот прибыл в белокаменную один прогрессивный японец с визитом в ВЦСПС. И решили тогда профсоюзные лидеры для поощрения демократических убеждений сделать ему скромный подарочек. Купили палехскую шкатулку с изображением кремлевских неприступных стен, а для того, чтобы сувенир вышел поувесистее, набухали туда с килограмм шоколадных конфет «Красная шапочка и серый волк». Так вот, японец, по своей дурацкой японской привычке избавляться от упаковок, конфеты с собой в самолет взял, а шкатулку в мусорный бак выкинул. Чтобы, значит, самолетного пересвета не вышло.

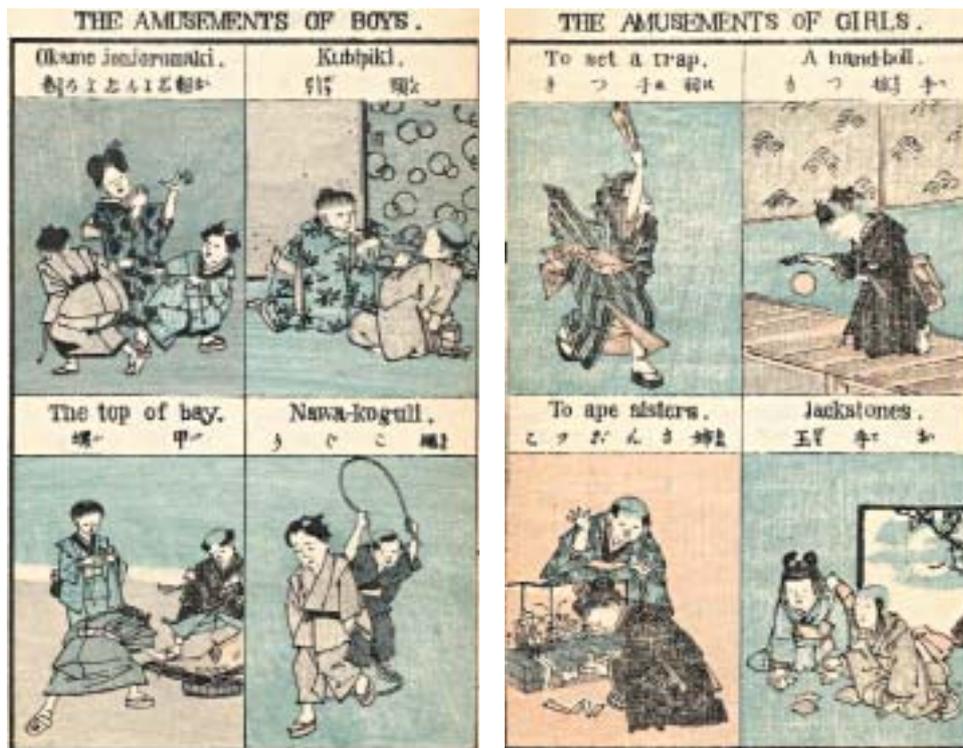
И тогда руководству КГБ, обследовавшему мусорный бак на предмет скрытой антисоветчины, пришлось шкатулку из ведра достать, протереть хорошенько и отдать на списание в МИД для подарка какому-то буржуину.

Япония же была другой — таинственной и загадочной. Людей, побывавших там, почти не было. И эти люди, обладавшие статусом средневековых визионеров, торжественно подтверждали: да, есть такая страна, стоит себе и очень таинственна.

Будучи невольным слушателем разговора рыбачек, В.Овчинников сетовал: «Много ли толку было понимать их язык — вернее, слова и фразы, если при этом я с горечью чувствовал, что сам их строй мыслей мне недостижим, что их душа для меня пока что потемки».

Эта фраза — ключевая не только для книги, но и для тогдашнего строя мыслей. В непонятном автором разговоре рыбачек — тоска по инаковости, надежда на то, что все может быть по-другому...

Книга В. Овчинникова — вполне серьезная и благородная попытка разобраться в японской душе. Вот как сам автор понимал стоящую перед ним задачу: «Об этом соседнем народе наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины... Однако, если отрицательные черты японской природы известны нам процентов на девяносто, то положитель-



ные — лишь процентов на десять. Приходится признать, что мы в долгу перед цветущей сакурой, которую японцы избрали символом своего национального характера».

Как это часто бывает, яркое произведение (хотя и не лишённое фантазий и фактических неточностей) вызвало к жизни лавину сильно ухудшенных подражаний. Каждый, кому довелось побывать в Японии, считал своим долгом внести свою лепту в миф о Японии. Апофеозом «япономании» явилась книга В.А. Пронникова и И.И. Ладанова «Японцы» (1983), претендовавшая на научное освещение вопроса (в аннотации сказано, что «это первая в нашей стране работа по социальной психологии японцев»).

В данном случае меня не волнуют многочисленные ошибки авторов, которые можно было бы обратить в разговор об уровне компетентности отечественной японистики. Свою задачу я видел в другом — понять, почему сочинения такого рода оказались близки читателю (книга выдержала множество изданий), т.е. уяснить некоторые черты национального советского характера времени застоя.

Для начала читателю предлагалось усвоить, что понять японца может только японец. В.А. Пронников и И.Д. Ладанов утверждают: «Пока подают кушанья, гейша шутит, играет, поет, танцует. Все это создает непринужденность и поднимает настроение. Иностранцы между тем не могут ощутить в полной мере всех нюансов ситуации, так как не способны понять тонко-

стей японского языка и скрытого смысла высказываний».

Непонятное же (которое на самом деле является не непонятным, а непонятым), естественно, обретает статус иррационального. «Для японского сада характерна атмосфера таинственности, что и положено в основу паркового искусства... Если попытаться перенести японский парк в какую-либо другую страну, то ничего не получится. Дух, атмосфера — вот что главное в японском парке».

Однако этого благоуханно-мистического японского духа оказывается все-таки недостаточно, и авторы замешивают его на религии, справедливо полагая, что объяснение таинственных реалий с помощью таинственной же для непосвященного причины придадут повествованию дополнительную пикантность. «Любознательность японца детерминирована конкретностью мышления. В этом несомненно сказалось и влияние буддизма». (Замечу, что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с религиозно-философскими построениями буддизма, вряд ли сможет согласиться, что буддизм как таковой располагает к конкретности мышления). Однако поиски «интересенького», отличающегося от скуки здешней жизни, которая превратилась в эквивалент медленного умирания, вели не к трезвым оценкам и вскрытию причинно-следственных связей, а к огульному «мистифицированию» чужих реалий и собственного читателя.

Вышеприведенные высказывания авторов книги «Японцы» свидетельствуют о признании ими уникальности японской культуры. Выбор объектов описания определяется поэтому прежде всего по признаку «то, чего у нас нет»: икебана, хакакири, сад камней, бусидо, чайная церемония, дзэн-буддизм и т.п. А раз японцы другие, то и женщины должны быть у них другими. Сам же японцы, думается, не без удивления восприняли бы обобщения типа: «Японская женщина не теряет своего достоинства даже во сне — скромная, благовоспитанная, она спит в красивой позе, лежа на спине со

Если бы «советский человек» принципиально отвергал вышеупомянутые ценности, то разговор можно было бы закончить, констатируя, что мы — разные.

Однако дело обстоит намного сложнее. Качества, столь рельефно проявленные у японцев, представляли собой и цель позднесоветского общества, его идеал — потерянный и находящийся одновременно в «светлом будущем». Япония же в освещении уловителей этого идеала являла собой осуществленную мечту в реально существующем пространстве, которое, однако, имеет ясно выраженные сказочные (утопические)



сложенными вместе ногами и вытянутыми вдоль тела руками». Ну где, скажите на милость, возможно такое? И где еще народ исповедует идею «подсознательного как ведущего принципа жизни»? На такое могут отважиться только представители очень сознательного народа.

Но «то, чего у нас нет» — это не только экзотика и мистика, это еще и наличие фундаментальных основ жизнеустройства, которые оказались в советский период нашей истории деформированными в катастрофической степени. К ним относятся прежде всего следующие качества: приверженность традиции, трудолюбие, дисциплинированность, стремление к согласованным действиям в группе, чувство долга, вежливость, бережливость, ответственность, сохранение семьи как основной ячейки общества.

Все эти свойства действительно присущи японцам и составляли особенно резкий контраст по сравнению с советским человеком.

смыслы — рисуются японцы исключительно положительно.

Япония — страна островная, а островное положение «обетованной земли» в народной российской утопии — вещь обычная. Это и Китеж, и «рахманский остров». Более того, легенда XVIII в. располагает благочестивую страну Беловодье в «окияне-море», омываемом берега «Опоньского государства».

История парадоксальна. Применительно к Японии парадоксальность заключается в том, что в XVIII в. «бегуны» действительно надеялись убежать туда от кабалы. Что же касается «эпохи застоя», то физически достигнуть страны счастья не мыслил никто. Япония мыслилась как страна, предназначенная для «внутренней эмиграции».

Если суммировать те черты, которые присузи жизнеустройству в многочисленных российских народных исканиях «правды», то мы обнаружим недвусмысленное сходство ее с представлениями о Японии недавнего

(а отчасти и сегодняшнего) времени. Помимо островного положения легендарной страны, она должна располагаться на востоке, ее обитатели предаются обязательному коллективному труду (трудолюбие японцев и выраженные формы коллективного поведения в противовес индивидуальным). Приверженцев утопических идеалов воодушевляли регламентированность жизнеустройства (этикетность поведения), скромность, отсутствие роскоши, общность имущества (корпоративная собственность современного японского капитализма), социальный мир, устойчивость и вечность установлений («традицион-

ности этого процесса. Межумочное положение, когда традиционные ценности уже разрушены, а новые еще не выработаны, диктует повышенный интерес именно к традиционным сторонам жизни японцев, а современные индустриальные структуры, безусловно оказывающие разрушающее влияние на традиционный городской уклад, воспринимаются с недоверием.

«Новое», «городское» во всем мире приводит к весьма противоречивым последствиям, которые не могут быть однозначно описаны с помощью категорий «хорошо — плохо». Однако в глазах советского человека, оконча-



ность» японцев), примат коллективных ценностей над индивидуальными, единение в условиях единоначалия.

Социальный идеал российского крестьянина переносился (подсознательно, разумеется) в современную Японию, для которой свойственно бросающееся в глаза всем наблюдателям сочетание элементов традиционного уклада, сумевшего адаптироваться к современной технологической культуре. Но именно первый компонент этого сочетания обладал для советского человека наибольшей притягательной силой, ибо социально-экономическое развитие СССР привело к гигантскому несоответствию между провозглашенными идеалами (которые в значительной степени проистекали из утопических народных чаяний) и реалиями жизни. Этот разрыв, характерный для всех стран, находящихся на первичной стадии индустриализации и накопления капитала, принял у нас особенно болезненные формы в силу дли-

тельно лишившегося в XX в. привычной среды обитания (социальной, экологической, исторической), идеалом осталось полунатуральное хозяйство с полупатриархальным образом жизни и мыслей.

Идеальный образ японца в сознании советского человека включал в себя не только черты, которые в той или иной мере действительно свойственны японцам. Глубоко народная подоснова этого идеала диктовала и ряд черт, любезных российскому человеку, но которые никакого отношения к японцам не имеют. Так чрезвычайно законопослушный народ становится у авторов книги почти что анархистом: «Большинство японцев недолюбливает юридические правовые нормы. Закон для них — наподобие дубинки. При упоминании слова «закон» (хо) многих прямо передергивает. В народе считают, что от закона лучше держаться подальше». Человек же, родившийся в Год змеи, характеризуется уже в связи с критериями, присущими

исключительно советскому человеку: «Змея невероятно везуча. Она может достать все, что угодно».

Словом, в сознании читателя создавался и складывался образ такой земли и такого жизнеустройства, в которых каждый мог подыскать нечто подходящее своему умонастроению. «В Японии есть все» — таково было убеждение советской аудитории.

И в строгой Японии случаются отклонения от заведенного обычая. Один мой знакомый нанимался в крупную фирму, торговашую фотоаппаратами. Процедура найма включала в себя письменный экзамен по математике и устное собеседование. При очной ставке собеседующий даже не взглянул на результат письменной работы, а гораздо больше заинтересовался красной рожой моего знакомого. А посему спросил: «Выпить любишь?» На что получил честный утвердительный ответ. «А за один раз сколько на грудь поднять можешь?» Трезво прикинув на умственных счетах свои возможности, кандидат в фирмачи отвечал: «Ежели с хорошей закуской, то литра полтора сакэ одолею».

Вердикт был однозначным: «Будешь у нас в регионах крестьянам фотоаппараты втюхивать».

Вот так и начал свою блестящую карьеру господин Иваси. А все потому, что не побоялся вовремя правду сказать.

Особое место занимала в сознании советского интеллигента японская поэзия. Особенно много сделала для ее пересадки на русскую почву В.Н. Маркова. Популярность ее «мо(а)рковок» была грандиозной. И дело здесь не только в достоинствах самой японской поэзии и не только в таланте переводчицы. Вряд ли нужно доказывать, что при переводе любых стихов происходит грандиозная трансформация исходного текста. В случае с японской поэзией в него вчитывалось еще больше, чем при переводах с других языков. Это обусловлено незнанием реального японского пейзажа, которому нет соответствий в России. Это обусловлено незнанием историко-культурного контекста, из которого рождалось стихотворение и которое его дополняло. Это обусловлено и закоренелой привычкой переводить в стиле «избранного» — переводчик переводит те стихи, которые кажутся ему «лучшими», но на самом деле на родине этого стихотворения оно бытует, как правило, только в щепочке (в личном собрании, которое может быть организовано совсем не по хронологическому принципу; в антологии или поэтическом турнире, где поэтические смыслы

высвечиваются только на фоне соседних произведений). Мы эти стихи читаем про себя, а изначально они подлежали обязательному оглашению и полупению.

Однако эти обстоятельства никого не волновали, потому что задача состояла совсем не в том, чтобы понять японскую поэзию.

Чем же была любезна читателю японская поэзия в ее русском переложении? Иными словами, каким потребностям, которые не могли быть удовлетворены домашней словесностью, она отвечала?

Не знаю, как кому, но мне-то кажется, что литературный гений русского народа нашел блестящее выражение в анекдоте и частушке. Эти формы, никогда не признававшиеся официальной культурой, требуют афористичности и краткости. Японские стихи отвечают этим критериям, однако переводят краткость в серьезное измерение, то есть легализуют краткость в качестве уважаемой литературной формы. Принципиальная невозможность сколько-то подробного описания объекта в таком стихотворении представляла привычную возможность читать между строк, но возвышала эту унизительную потребность до акта сотворчества (В.Н. Маркова писала: «Каждое стихотворение — маленькая поэма. Она зовет вдуматься, почувствовать, отворить внутреннее зрение и внутренний слух. Чуткие читатели — сотворцы поэзии. Многие недосказано, недоговорено, чтобы дать простор воображению»).

Русские переводы придали японской поэзии намного большую степень индивидуальности, чем та, что ей свойственна, и этим обслуживались местные потребности в чистой лирике. Русская (а тем более советская) поэзия никогда не была обильна в части разработки микрокосмических тем (следует учитывать и малодоступность многих лирических текстов в советское время), увлекаясь эпосом — политикой, социологией, «гражданственностью» (показательно, что эпическая струя японской поэзии не вызывала никакого энтузиазма ни у переводчиков, ни у читателей). Переводы из японской поэзии не были отягощены никакими идеологическими и культурными коннотациями и воспринимались как чистая лирика. Русский перевод «Маньёсю» — лучшее тому доказательство: весьма архаическое полуфольклорное слово VIII столетия превратилось в «нормальную» поэзию XX века.

Работа талантливых переводчиков не пропала даром. Советского Союза нет как нет, а переводы японской поэзии все выходят и выходят... Так что дело не только в вульгарной «социалке». Может, и вправду — японские стихи хороши сами по себе?



## Мифологическая любовь и ее последствия

Японские мифы были записаны в начале VIII века в мифологическо-исторических сводах «Кодзики» («Записи о делах древности», 712 г.) и «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720 г.), которые были составлены по прямому указанию императоров.

Одной из основных идеологических целей «Кодзики» и «Нихон сёки» было обоснование легитимности власти правящего рода и «склеивание» воедино мифологических представлений различных социальных и этническо-территориальных групп, входивших в состав древнеяпонского государства Ямато. При этом едва ли не главным средством формирования общегосударственной версии мифа являлось установление родственных отношений между богами, принадлежащими к разным традициям. Получается, что известный нам сегодня «японский миф» представляет собой продукт волевой деятельности правящей элиты Ямато. Тем не менее, эти мифы оказали очень большое влияние на формирование японского менталитета.

В настоящее время обычно принято делить мифы «Нихон сёки» и «Кодзики» на три основных группы.

**1. Мифы о разделении Неба и Земли.** Они имеют прямые параллели с мифами Центрального и Южного Китая (неразделенность первоначальной субстанции, подобной яйцу), Полинезии (порождение земли из моря).

«В древности, когда Небо-Земля были не разрезаны и Инь-Ян не были разделены,

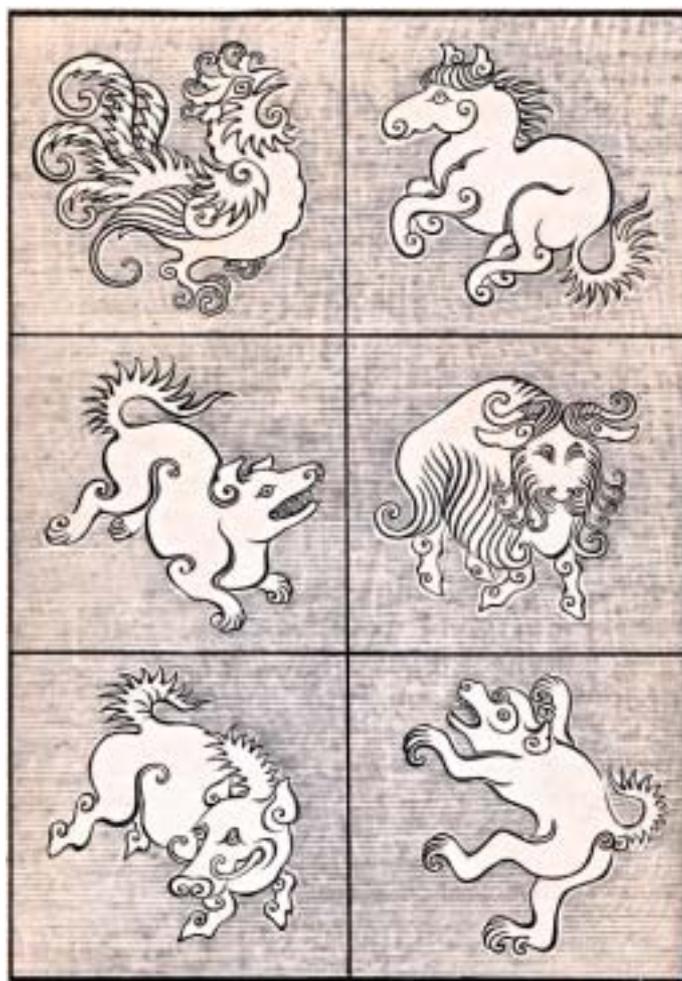
мешанина эта была подобна куриному яйцу, темна и содержала почку. И вот, чистое-светлое истончилось-растянулось и стало Небом, а тяжелое-мутное удержалось-застряло и стало Землей... Говорят, что в начале, когда происходило разделение Неба-Земли, страна-твердь плавала и двигалась, как плавают на поверхности воды играющая рыба. И тогда между Небом и Землей возникло нечто. По форме оно напоминало почку тростника. И оно превратилось в божество. Имя его – Куни-но Токотати-но микото... Затем еще явились боги: Идзанаги-но Микото, Идзанами-но Микото... Став на Небесном плывущем мосту, друг с другом совет держали и рекли: «А нет ли там, на дне, страны?» И вот, взяли Небесное Яшмовое Копье, опустили его и пошевелили им. И нащупали они синий океан. Капли, падавшие с острия копья, застыли и образовался остров. Имя ему дали Оногоро-сима. Два божества тогда спустились на этот остров и восхотели, заключив брачный союз, породить земли страны» («Нихон сёки», перевод Л.М. Ермаковой).

При этом между Идзанаги и Идзанами происходит такой диалог. Идзанаги спрашивает свою сестру:

— Как устроено твое тело?

— Мое тело росло-росло, но есть одно место, что так и не выросло.

— Мое тело росло-росло, но есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя не выросло, и родить страну. Ну как, родим?



Когда так произнес, богиня Идзанами «Это будет хорошо!» – ответила». («Кодзикаки», перевод Е.М. Пинус).

Это безыскусное «Хорошо!» определяет на многие века вперед одну из основных тем-доминант японской культуры. «Творить» (т.е. любить и рожать детей) – хорошо. Очень важно при этом, что собственно любовь и ее материальные следствия (потомство) оказались оценочно не разведены (как это случилось, например, в христианской культуре – во многом потому, что в ней доминирует концепция единого Творца, которому не требуется партнер по Творению), но соединены.

Породив острова Японии, т.е. после того, как месторазвитие японской культуры и истории было определено, Идзанаги и Идзанами рожают «все десять тысяч вещей», а также множество божеств, в том числе Аматаэрасу (богиню солнца), Цукиёми (бога луны) и Сусаноо (бога бури) и отправляют их по Небесному Столпу на небо. При рождении бога огня Идзанами опалает свое лоно и скрывается в Стране Мертвых (*Ёмоцукуни*). Идзанаги преследует ее, но сестра приходит

в ярость из-за того, что он увидел ее в Стране Мертвых и решительно изгоняет его оттуда. На этом деяния Идзанаги и Идзанами прекращаются.

## 2. Мифы о богах Равнины Высокого Неба (Такамагахара).

В этом цикле основными героями повествования становятся Аматаэрасу и Сусаноо. Поначалу отношения между братом и сестрой складываются благополучно, и они продолжают дело, начатое Идзанаги и Идзанами, т.е. рождение детей. Однако затем, находясь на Равнине Высокого Неба, Сусаноо совершает ряд тяжких преступлений: разрушает межи на полях Аматаэрасу, испражняется во время отправляемого ею ритуала нового урожая, подбрасывает ей шкуру освежеванного им жеребенка, когда Аматаэрасу тклет священные одежды. И тогда, ввиду нанесенных ей оскорблений, Аматаэрасу, подобно Идзанами, скрывается. Она прячется в Небесной Пещере, и тогда в мире наступает тьма. Другие божеества Равнины Высокого Неба вынуждены предпринять основательные меры для ее вызволения. После отправления ими ряда



ритуалов по вызыванию солнца Аматэрасу покинула пещеру, и в мире снова настал свет. Однако в наказание за совершенные им безобразия Сусаноо был изгнан богами с Неба. По пути в подземную Страну Корней (*Нэ-но куни*) он задерживается на земле в Идзумо и спасает от гигантского восьмиголового змея девицу Кусинада-химэ, с которой он сочетается браком. Потомки Сусаноо и Кусинада-химэ (в первую очередь, Оокунинуси) становятся богами, особо чтимыми в Идзумо (совр. префектура Симанэ). После сокрытия Сусаноо в Стране Корней его земные деяния заканчиваются.

Чрезвычайно значимым представляется следующее обстоятельство: соперничество между Аматэрасу и Сусаноо (точно так же, как и между Идзанаги и Идзанами) разворачивается не между разными поколениями божеств, но внутри одного и того же поколения (в обоих случаях между братом и сестрой). В исторической перспективе это приводит к прочному осознанию того, что поколение является не столько разъединяющим, сколько соединяющим элементом.

### 3. Миф о схождении на землю прародителя «императорской» династии.

Ниниги-но Микото, внук Аматэрасу, получает повеление управлять Срединной Страной Тростниковых Равнин (одно из древних названий Японии). Однако поскольку в этой стране было множество «дурных божеств», и «всякая трава, и все деревья были наделены речью» (т.е. земля находилась в состоянии неупорядоченности и хаоса), следовало покорить ее. После того как после нескольких неудачных попыток посланцы богов Высокого Неба усмиряют непокорных земных божеств, Ниниги-но Микото, именуемый «царственным внуком», покинул Небесный Каменный Престол, раздвинул Небесные Восьмислойные Облака и спустился с Неба на пик Такатихо, который располагался на острове Кюсю. После брака с дочерью местного божества и рождения детей Ниниги-но Микото умирает. Их внуком является Камуямато Иварэ-бико Хоходэми-но Сумэрамикото — легендарный японский первоимператор, более известный впоследствии под своим посмертным именем Дзимму.

Таким образом, японский миф представляет собой рассказ о последовательном появлении на свет божеств — именно акт брачного соединения с последующим рождением является основным системообразующим элементом японского мифа. Вне зависимости от деяний божеств и приписываемых им функций каждое из них «обязано» обладать некоторым потомством. После совершения акта деторождения основное предназначение божества считается исчерпанным (в одной из версий мифа в «Нихон сёки» Идзанами так и говорит Идзанаги, пришедшему за ней в Страну мертвых: «Мы уже породили страну. Зачем же ты требуешь, чтобы я снова жила? Я останусь в здешней стране. Обрато с тобой не пойду»), и очень часто за ним следует ссора божеств-супругов, после чего одно из них совершает «божественный уход», т.е. умирает, или, точнее сказать, переселяется в мир иной, бытие в котором остается за рамками повествования.

Постоянная озабоченность богов в мифе и людей (в «исторической» части «Кодзики» и «Нихон сёки») количеством и качеством порожденных ими детей, соперничество из-за невест показывают, что основной составляющей «исторического процесса» (т.е. того, что происходило в прошлом — будь то «дальняя» история мифа или же история «ближняя») было наращивание всеяпонского генеалогического древа, произрастание которого невозможно без задействования брачного механизма вселенского (или по крайней мере общеяпонского) масштаба. Первое, что сообщают хроники в начале правления того или иного императора — это имена его многочисленных жен и детей. А чем больше детей, тем мощнее род и тем выше его шансы на выживание — биологическое и социальное. Отсюда те трогательные, порою душераздирающие легенды и предания о разделенной (неразделенной) любви государей, той любви, которая считалась достойной фиксации как дело общегосударственной важности.

Полноформатный цикл деторождения в мифе может быть описан в виде нижеприводимой цепочки: встреча — ухаживание — соединение — рождение детей — ссора — расставание. Удерживая в поле своего внимания всю эту единую мифологическую цепочку, культура исторического времени дробит ее на составляющие. В значительной степени благодаря этому процессу в более позднее время появляются отдельные жанры словесности. Так, японская классическая поэзия огромное внимание уделяет ухаживанию и расставанию влюбленных, а все стороны жизни, связанные с деторождением отходят к прозе.

Язык любви оказывается в результате столь всепроникающ, что с его помощью становится возможным иносказательное описание и истолкование ситуаций, совершенно, казалось бы, посторонних по отношению к оригиналу.

В хронике «Нихон сёки» приводится такое стихотворение, которое, по мысли составителей, имеет предсказательную силу:

*Не знаю лица,  
Не знаю и дома того,  
Кто повел  
Меня в рошу  
И спал там со мной.*

Ситуация, которую описывает это стихотворение, вроде бы предельно ясна: она имеет непосредственное отношение к любовному (эротическому) происшествию. Эта песня — некоторое послесловие к распространенным в древней Японии брачным играм *утагаки*, когда запреты обычного времени переставали действовать.

Какое же истолкование предлагает сама хроника? Оно — чисто политическое и замешано на интригах придворной жизни (не вдаюсь здесь в ее хитросплетения): «Песня указывает на Ирука-но Оми, который был неожиданно убит во дворце руками Саэки-но Мурадзи Комаро и Вакаинукаи-но Мурадзи Амита».

Еще одна песня, первоначально предназначенная для исполнения во время брачных игр, гласит:

*Пусть возьмет мою руку  
Мягкая рука  
Мужчины, что стоит  
На горе напротив.  
Чья же грубая рука,  
Грубая рука  
Берет мою руку?*

Хроника толкует песню так: «По прошествии нескольких лет стало понятно, что эта песня обозначала, что Сога-но Курацукури окружил принцев Камицумия на горе Икома».

Так получается, что язык любовных отношений становится языком описания событий, которые не имеют к любви абсолютно никакого отношения.

В Европе и в России более известен, по сравнению с синтоизмом, японский буддизм. Споры нет: его вклад в японскую культуру огромен, он привнес в нее, в частности, печаль неизбежного расставания. Но не следует забывать, что рядом с буддами существовали и податели жизни — синтоистские божества. И мощный творительный, деторождающий

потенциал мифа никогда растрочен не был. То есть, буддизм заполнил ту нишу печали и расставания, занять которую синтоизм не хотел и же не смог, но энергия роста растений, но плодотворная энергия размножения людей, всегда оставались во власти синтоистских божеств и почитавших их людей, так что конкурирующие (взаимодополняющие?) эмоции оказались разведены ситуативно. И сложилось так, что буддизм стал обслуживать похороны (в обиход вошло кремирование), а синтоистские жрецы были признаны специалистами по части радости рождения и свадеб (при этом «аудитория» первого и последнего обрядов жизненного цикла совпадала).

Но так было в жизни, в реальном круговороте ритуала. Литература же, польстившись на заморско-буддийское пренебрежение к

радостям жизни, стала «интересничать», что, впрочем, отнюдь не помешало ей создать великие памятники тщете отдельно взятой человеческой жизни.

Японская литература предпочитает описывать не саму любовь, а прощание. Совершенно естественно, что прощанию предшествовала любовь, даже если она (по законам ограниченных самим человеком жанров) и не сумела попасть на страницы поэтических или же прозаических произведений. В то же время прекрасно известно, что население Японии до самого последнего времени плодилось и размножалось весьма успешно. То есть, жизнь продолжалась и не знала перерывов, несмотря на бесконечные рассуждения о ее неизбывной бренности.



Александр Мещеряков

## Письма средневековому другу

Кэнко-хоси  
Иосифу Бродскому

I

Как дела, дружище? Так же все печально?  
Вижу: кисть твоя летает над бумагой рыхлой.  
Будто бы слезинка пробежала,  
На скуле соляной развод оставив.

О тебе немало знаю. Ты же  
В чашке сберегаешь лишь чайники,  
В чарке же — губами ловишь  
Лунный свет, настоенный на туши.

II

Тихо ты живешь теперь — никто не знает —  
Дома ты или скончался. Помнишь, как  
Холодной ночью забредали мы погреться к гейшам?  
(Да, ты прав, не к гейшам — к куртизанкам).

«Я велик, — кричал спросонья,  
Обнимая деву, — Ни к чему мне дети.  
Научить их видеть дальше носа — невозможно.  
На иголку пялься, а не в сосны».

III

«Год велик, — сказал ты, — если жить неслышно».  
Лень я одобряю. Каждый стих —  
Последний. Каждый день впервые  
Свет меня ласкает. Есть ли смысл

В любовном деле? Отвечаю: счастье — есть.  
И слезы. В смысле — сомневаюсь.  
Вместе с дымкой над худою крышей  
Я растаю. Зацветет шиповник. Это — знаю.

聖武天皇御寄附紋綾御幡小裂

法隆寺御物

物御院倉正 掛机御錦倭用所御皇天武聖

IV

Голову обрил. В гору поднимаясь выше, выше,  
Бормотал: «Все вам оставляю. Забираю небо».  
Я не стану спорить, друг мой,  
Что милее — осень или лето.

Мы в Московии не подбираем слово —  
Дело нас находит.  
В горы тоже не уходим.  
В евроазиатском коридоре — все бездомны.

V

Шапка Мономаха, держава, скипетр;  
Яшма, меч и зеркало Амаэрасу.  
Давит грудь державный воздух Рима.  
Легче выдох на окраине Китая.

Заросли бурьяном храмы Будды,  
На кремлевский камень льют чухонским клеем,  
Мы в своей стране — лишь чужестранцы,  
Оттого камнями бьем купцов заезжих.

VI

Коротка судьба мотылька. Но дня  
Хватает на смерть, любовь, полет.  
Человек спешит обзавестись потомством  
И не успевает разлюбить себя.

Мы с тобой богаты только светом.  
Жаль, не видел ты моей равнины.  
Ты со мной делился сакуры цветеньем.  
На снегу тебе оставляю посвященье.



В оформлении материала использованы иллюстрации из старопечатных книг эпохи Эдо и из альбома «Malerische Studien», – Leipzig, б.г. // W 62/32.